

В.В. Розанов

Гордиев узел

*По изданию: Эстетическое понимание истории. Сборник статей.
Москва, 2009 г.*

Впервые опубликовано в журнале «Русский Вестник» № 11, 1895 г.

I

«Самоуправление очень часто может сделаться тою щепкой, которая, попадая в колеса машины, портит ее, нарушая ее правильный ход. Ведь самоуправление невозможно без выборов, без решения вопросов большинством голосов, а сам же г. К-ский сознается, что большинство голосов — это фикция и чаще всего дела решаются перевесом (заметим — совершенно случайным) нескольких, даже двух и трех голосов, и что подчиняться такому решению большинства особенно тяжело».

Так в № 224 «Русского Слова» г. А. Скопинский отвечает, в статье «Знамение времени», г-ну К-скому на его замечательные и местами оригинальные суждения¹ о нашем государственном строе («Журнальное Обозрение», в августовской книжке «Наблюд.» 1895 г.), побочно указывая на самоуправление как на некоторую мешающую «щепу», затрудняющую ход политического механизма. Несколькими строками вышеприведенного отрывка он говорит еще:

...«Мы вовсе не за бюрократизм и не за самовластие чиновников стоим, но еще менее стоим мы за самоуправление, видя в нем прежде всего попытку противопоставить единой царской власти другую власть, не от царя исходящую»...

Итак, признается обеими сторонами — и, кажется, об этом нет двух мнений в нашей печати как либеральной, так и консервативной — что бюрократизм не только в злоупотреблениях своих, но и в слепоте неведения местной жизни — есть некоторое трудно переносимое зло; есть зло, которое следует сузить и ослабить. И, по крайней мере, одною

¹ Оригинальную сторону в статье г-на К-ского составляет указание на значение монархического строя в текущий капиталистический момент истории.

стороною (консервативною), но с полным основанием, признается, что еще большее зло есть самоуправление, заразившееся почти всеми пороками бюрократии и не имеющее многих ее достоинств¹. Вопрос, таким образом, сведен к некоторой мертвой точке, к некоторому *circulo vitioso*, в котором кроме зла ничего не предлежит к выбору живым людям, — к несчастью, иногда ярко ощущающим на себе и тягостно испытывающим это зло...

Указание, что «самоуправление нарушает ход правительственной машины» — есть только очень слабое, очень бледное и вовсе не существенное. Его зло — глубже и серьезнее: тот механизм «выборов», «большинства голосов» (мы опускаем пока другие его принципы) находится в некотором антагонизме с самым смыслом нашего целостного государственного строя и не «мешает» только его ходу, но в самом существе его неумовимо *разлагает*. Антагонизм этот выражен не в словах, но в *деле* самом; он не формулирован и, однако, всяким ощущается; он всякого невольно *подчиняет* себе, и когда я беру «шар», чтобы положить его в «избирательную урну», если я это делаю с убеждением — я отрицаю, осуждаю, негодную на чиновника, которому в другой сфере обязан подчиняться и между тем он избран способом, ничего общего не имеющим с этим голосованием. Я повинуюсь «большинству голосов» здесь, в этом вопросе о проводимом мосте, о субсидируемой школе, и мне не понятно, мне представляется некоторым *contradiction in adjecto*, каким образом в вопросах неизмеримо большего значения и также меня касающихся, я повинуюсь решению, высказанному не «большинством», обсуждавшим его, но *одним* человеком, который исторически носит священное для меня имя. Это имя невольно ограничивается для меня в своем смысле; я начинаю думать, что в нем есть ошибка; я особенно укрепляюсь в этом потому, что то

¹ Чтобы не быть голословными, мы здесь сошлемся на злоупотребления самоуправлений, как, например, в истории с знаменитою «пухертвскою» мукою С.-Петербургской думы, где дума, поступала, в голодную зиму, по отношению к городскому населению, почти как интендантские чиновники с голодавшими солдатами в войну 77–78-го года (см. «Письма С. Боткина из Болгарии»). Сошлемся, далее, на препятствия в той же самой думе открытию городского ломбарда, что подорвало бы доходы владельцев частных ломбардов. Что касается «заслуг» самоуправления перед страной и населением (например, в деле школьном и медицинском), то они все более кажутся, чем действительные. Ибо все то, что сделало земство и городские думы, сделали бы более и отчетливо и бережливо и чиновники, будь *им* также предоставлено право облагать население податями на местные нужды. Вообще, наше самоуправление есть только второй штат чиновничества, с большими правами, с меньшею ответственностью, без какой-либо оригинальности в духе, в строе, в принципах, и, в сущности, без какой-либо связи с специфически *местным*.

имя — уже древне, уже архаично, что в возникновении своем оно относится к временам, политически еще не опытным, наукой не просвещенным, между тем как на стороне этого способа *знать* лучшее или *иметь* лучшего — авторитет новизны, т. е. большей политической зрелости, выросшего ума, углубленного размышления, сравнения между собою стран, времен, народов, между которыми всеми был сделан выбор, без сомнения, наилучшего.

Вот где заложен смысл «самоуправления». И если, не доверяя авторитету новизны, я чту как некоторое для меня священное, праведное, вечное то имя, которое не хочу повторять всуе — я отрицаю всю силу души самоуправления. Это — логика моего сердца, это — вывод моего ума. *Факты* я подыскиваю, подчиняясь этой логике; я равнодушен, невнимателен ко всему, что выказывают хорошие, добрые стороны самоуправления; *ранее* всяких фактов, *вопреки* всяким фактам, я его *не* хочу как некоторое оскорбление для своего сердца, как нестерпимое противоречие для моего ума. С равною силою, по равным основаниям не хотят того имени все, кто с убеждением, с верою, с надеждою стоит в градациях самоуправления. Г-н Скопинский хорошо это формулирует:

«Большинство людей, стоявших за прогрессивное движение нашей государственной и общественной жизни, — говорит он, — еще не очень давно смотрело на принцип монархизма, как на *пережиток* варварских времен. Меньшинство этих людей видело в нем лишь *временную* форму правления, которая впоследствии должна *уступить* место другой, более современной» («Знамение времени», «Русское Слово»).

Вот выражение действительности, не только как она «была несколько лет назад», по мнению г. А. Скопинского, но как она есть и теперь. Как бы два камня нашей политической мозаики, большой и «ветхий деньми» и около него новый, незначительный пока, но крепкий в силу своей свежести и обилия недавних чувств, около него возникших — теснятся, давят один на другой своими *не совпадающими* краями и, без всякой личной в этом *вины*, *силятся* выбросить друг друга из образуемой ими поверхности нашего государственного уклада. Если мы подумаем, что эта мозаика вставлена в живой, растущий народный организм, мы без труда пойдем, как энергичны должны быть, хотя бы и замаскированные до времени, усилия борьбы здесь. В текущий момент достаточно наблюдать, с какою стремительностью *все* земские силы, без какого-либо в себе разделения, устремились против вмешательства церкви в дело сельского образования, неосторожно переданное им лет 25 назад, — чтобы видеть, что «земство» (в обширном его смысле) прежде всего другого есть *сила, значение, компетенция*, которая вовсе не намерена отказываться от приобретенного положения и отступит из

него только перед нами.

И между тем даже в виду этой надвигающейся тучи, откуда лишь до времени не гремит гром, не сверкают молнии, мы повторим за г. А. Скопинским как некоторую вечную истину для нашего ума, как правду нашего сердца:

«Мы не за бюрократию, не за самовластие чиновников»...

II

Что же делать? Где же исход?

Но кто же, как не бюрократия организовала *так* земство? И, последовательно, не она ли открыто заявила о своей неспособности к деланию живого дела, раз допустила введение в наше политическое бытие этой мозаики, в смысле и последствиях которой ни на минуту нельзя было сомневаться?¹ Потому что разнородность этих принципов: «большинство голосов» — «единовластие», «избрание» — «наследственность» нельзя было не видеть уже и в то время, в 60–70-е годы, когда вводилось «самоуправление», — ибо она обнаруживается, как только мы их *высказываем*, в самом *произнесении* их, и было наивностью ожидать, что «опыт жизни», «практика действительности» опровергнет словесную тавтологию или опровергнет логический закон противоречия.

Мы назвали только два принципа «самоуправления», случайно упомянутые г. Скопинским, и о которых он оговаривается, что «без них оно было бы невозможно». Но и остальные его принципы «имущественный ценз», как основа самых выборов, и ограничение сферы забот самоуправления сферою только вещественных, денежных материальных нужд, с совершенным исключением всякого *придумывания выбора* организации в области собственно духовной (например, в области школы) — не менее находятся в противоречии со смыслом нашей истории, только уже не в государственной ее сфере, но в еще более глубокой сфере, этической. Без какого-либо преувеличения, без всякого желанья быть жестоким в словах, мы скажем, что самоуправление, self-government — осквернило нашу землю; распространив это self-government на пажити всей нашей страны, т. е. куда вовсе не заглядывал прежний канцелярский строй — мы эти пажити сделали ареною самой скверной борьбы, самых бесчестных и отчасти глупых понятий. Никогда даже в голову русскому человеку не приходило,

¹ Открытое, по-видимому, признание такой своей неспособности к мало-мальски живому делу обнаруживается и в постоянном вызове «сведущих людей», т. е. в признании себя несведущими. — *Ред.*

чтобы он оценивался на деньги; он знал, что не за деньги оцениваются и поставляются на службу «царевы слуги» — чиновники; не за «мзду» определяется священник в приход; не ради этой мзды судит судья, защищает границы воин. Мзда, деньги, богатство — как ему говорило Евангелие, как он слышал в церкви, в притче о «богатом юноше» и, наконец, не ложно чувствовал в своей совести — есть искушение на зло и очень редко побуждение к благу; это есть бремя, которое не многие выносят в чистоте; во всяком случае — перед Богом это не есть какое-нибудь преимущество; кажется (он думал в темной своей душе), это не есть преимущество и перед царем, перед отечеством, что все так близко к Богу, живет Его благословением. И вдруг ему говорят, что это-то одно (богатство) — и ценится; что в некоторой новой сфере — это есть все; и притом в такой сфере, где он ближе всего стоит к родной земле, где он уютится около ее груди, там свое дело делает, заботится, хлопочет. И *о чем*, наконец, хлопочет? как новый «Калита» — он только хлопочет около ящика с деньгами, собирает в него, отпускает из него, вчера на гать в болоте, завтра на избу для школы и никогда на новый колокол в церковь, на серебряный покров для плащаницы, никогда «на построение храма» и очень часто — для возведения кабака. Не поразительно ли: во многих городах, как Одессе и других, городские думы субсидируют десятки тысяч на содержание театра, бывали у нас приветствования всем составом либеральных немецких писателей, и нет, положительно нет ни одного города, ни большого, ни малого, и не было за все время существования «дум» и «земств» ни одного момента, когда где-нибудь обсуждался бы вопрос о поправке кафедрального собора, ремонта чтимой церкви; где дума, в полном составе гласных, вышла бы навстречу чтимой иконе, проводила бы ее с крестным ходом. Не знаем даже и сомневаемся: начинаются ли и оканчиваются ли думские и земские «сессии» вообще какою-нибудь молитвою, т. е. тем актом души, тем движением «мира» — церкви, без которого *естественный* русский человек, в *нормальном* состоянии находящийся, не предпринимает вообще никакого дела как большого, так даже и незначительного. Клеймо чего-то... *около* кафе-шантанного, неудержимо легло на все наше самоуправление; и если вдуматься в Россию, «от веков» идущую — нельзя отвергнуть, что на ее чело это self-government легло как некоторое историческое неприличие, до того оно грязно, до того оно мелко, до того представляет собою лик смеющийся и не умный... Если мы примем во внимание и то, что о нем было сказано выше, мы прибавим: «И лик — злой»...

Что же с ним делать? Где отсюда исход?

III

Но кто же сказал нам, или, точнее, кто доказал, что самоуправление, в самом деле, «невозможно без выборов, без решения вопросов большинством голосов» и т. п. бутафорских принадлежностей парламентаризма, которые именно и вносят в местную жизнь городов и весей наших деморализующее влияние, в то же время подсекая в корне смысл и серьезность самого self-government'a. Вот небольшая жизненная сцена, где этих принадлежностей вовсе нет и есть «самоуправление» в его глубочайшем смысле:

...Нам удалось быть при одном общественном богослужении молокан и слышать разбирательство жалобы молоканки на мужа, который обозвал ее словом бранным (бранное слово, вообще, у молокан редкость); разбирательство производил церковный совет публично, пред 300–400 человек пришедших на богослужение, состоявший из убеленных сединами старцев, из коих некоторым было много лет. По выслушании жалобы, тотчас развернута была библия (огромного формата, известная у нас под именем параллельной), и из нее прочитаны тексты об отношениях мужа к жене и жены к мужу. «Муж, — читал седой, как лунь, член церковного совета, — отдавай жене должное, подобно и жена мужу; жена не властна над своим телом — а муж, равно и муж не властен над своим телом — а жена». «Внемлите сему, — взывал старик, не свои словеса говорю вам, а словеса библии вечные и неизменные»... Жены, дочери, парни, дети, бывшие при богослужении, слушали внимательно слово наставления, произносимое старцем, коему было за плечами 96 лет. «Худое обращение мужа с женой легко может повести жену к нарушению брачного союза, — говорил другой член совета, такой же, как и первый, — и тогда хотя жена не будет без вины перед Господом Богом, но муж сам *первый даст ответ* пред Господом Богом за грехи жены, ибо ему было повелено любить жену свою, как Христос возлюбил церковь, а Христос Самого Себя предал за нее, чтобы освятить ее, очистить и представить ее себе славною церковью, не имеющею пятна или порока. А ты не только не исполняешь заповедей Бога, но и вводишь жену во искушение. Не помилует тебя Господь! Покайся по-христиански и спроси у жены твоей прощение. *Утешь нас* и не посрами наше общество истинных христиан, которого ты сделался недостойным!

Признаемся, мы были поражены этой сценой разбира-

тельства мужа и жены, а когда муж обнялся с женою, поцеловал ее публично, в виду всего собрания, и испросил у нее прощение в своей вине, а собрание запело благодарственный Богу гимн — то были тронуты не шутя. При подробных расспросах, мы узнали, что ссоры мужа и жены у молокан до того редки, что некоторые, прожившие весь век свой, не сказали друг другу бранного слова¹.

Что в том, что эта сцена взята не из жизни православных; что она относится к суду, а не управлению. Она взята из жизни русского народа, вытекает из церковного его строя и представляет момент *управления им себя самого*, и притом в сфере самой трудной — нравственно-семейной, домашней; в сфере «жестоких нравов» и обычая, наименее податливой и бурной. Притом этой сцене мы не придаем положительного значения, а только *отрицательное*; мы указываем только, что в ней *удалено, отсутствует*, говорим, что жизнь *общины* течет здесь правильно и ярко, хотя нет ни избирательных урн, ни черных и белых шаров, ни голосования, ни имущественного ценза, ни всего того шума и грязи, которые от Потомака и Делавара до нашей холодной Камы заволакивают тиной всякий момент self-government'a.

Самоуправление — это только управление *собою*; жизнь активная, а не пассивное повиновение; жизнь по обычаю своей местности, а не под давлением из центра. Это — регулирование общественных отношений, охрана общих интересов, попечение о местных нуждах не через «соглядатаев» присланных, а самими туземными жителями. И ничего еще в этом поняли не содержится, ничего более в нем не предрешено.

У нас нет вовсе self-government'a; или — оно есть, но так как оно именно не туземно, и даже не только в Перми, Курске, Твери, но не туземно и по отношению к целой России, то оно может быть рассматриваемо как символ крайней централизации в цивилизации, как дуновение, принесенное на Каму и Дон даже не с берегов Невы (как это мы видим в бюрократии, когда Дон и Кама управляются присланными из Петербурга чиновниками), но с берегов Темзы, Шпрее, Сены. Оно есть один из актов в длинном процессе духовного покорения нашей страны западноевропейскою цивилизациею; есть момент, подобный множеству других за эти два века, духовного отречения России от себя. Частности его жизни: эта борьба против церкви в деле народного обу-

¹ К. Леонтьев. «Восток, Россия и Славянство». Москва, 1886 года. Том II, стр. 18–19. Рассказ заимствован из № 51 «Современных Известий».

чения, эти недавние адреса, и «tête de Woronej»¹ — на визитной карточке, и «toute l'intelligence russe»² — в телеграмме по поводу кончины Пастёра, все это, смешное и трагическое, течет из основного его смысла, в котором невозможно было сомневаться уже и тогда, когда оно у нас «учреждалось».

Что же с ним делать? И как его переиначить?

IV

Не иначе, как переиначившись, как возродив в себе «самость» — можно не переиначить только его (к чему? ведь оно и не родилось даже, наше «само» — управление, и исторически его можно и следует только забыть, бросить, как бросают послед уродливого и мертвого младенца), но и возродить. «Само» — управления нельзя «учредить»; его можно только *допустить* — из центра, и в него нужно уметь *родиться* — на «местах». В чем же тайна, и где этот возрождающий дух?

У нас — там, где оформилась и наша монархия, где сложилась наша народность: в духе церкви, ее твердых указаний, ее уповании, ее чаяниях.

«Да поживем — житие тихое и безмолвное, во всяком благочестии и чистоте», — так молится наша церковь, ежедневно, и почему это не завет, не указание, слова которого кратки, но смысл глубок, непрерываем и живуч? Да «поживем» — т. е. не только уплатим подати, не побежим поспешно исполнить это и то распоряжение; «житие безмолвное и тихое» — т. е. без ораторов непременно, без трибуны, без скверны аплодисментов и свистков; «во всяком благочестии и чистоте» — т. е. уж, конечно, без выборов, без какой-либо возможности подкупа, без искусственных средств склонения на свою сторону путем красноречия, казуистики доводов, и, вернее всего, — через обещанную подачку. В «чистоте», в «благочестии» — т. е. прежде всего в заботах о небесном, и уже потом, позднее, во-вторых - о земных своих нуждах.

Так, в этих чувствах, с этими целями — «поживем», т. е. не пассивно посуществуем в каждом уголке земли, в каждом городе и всякой веси, но активно потрудимся, поживем всею полнотою сил духовных, а не средствами только физическими, не хлопоча только около денежного ящика. Вот завет, вот формула; вот жизнь изреченная, к которой мы не прислушались и влачим, поэтому, мертвое и постыдное существование.

¹ «глава Воронежа» (*искаж. фр.*).

² «вся русская интеллигенция» (*фр.*).

Кто более бы радовался, нежели наш Царь, этому «безмолвному и тихому» житию его весей, его городов и сел, и целых стран, наконец, которые в десницу его вложил Господь? Нет более верного друга, нет более горячего заступника за всякий вид «самости» в нас, нежели Он. Какое это мучение — досматривать за всем; ничему — не доверять; о всем — заботиться, и, по невозможности выполнить это лично, передоверять все это рабам — лукавым или верным, как это трудно бывает угадать! И между тем этот досмотр есть неизбежно вынужденное теперь, пока мы в собственной стране своей являемся только татями¹ и расхищаем имущество менее наше и более его. Ибо — признаем это — Россия, просвещенная христианством, избавленная от уделов, освобожденная от монголов, собранная, расширенная заботой и трудами именно царей, в сотрудничестве лишь святителей церкви, боярства, народа, есть в точности *res in manu regis*, есть сокровище дома царского, в котором нам принадлежит радость, счастье, иногда — труд, страдание, всегда — повинование и никогда управление (иначе как с соизволения)... Итак, горячее, нежели может пожелать каждый из нас, в тайных думах своих, Богу открытых, Царь уже мучится мыслью о том, каким образом соединить и сохранение в целостности имущества своего: этих стад народных, этих городов и весей, соблюденных «в тишине» его предками; и, вместе, дать этому всему радость местной, свободной, неподавленной жизни...

Мы только стоим на пути к этой радости, мы — с нашими избирательными способами, счетом голосов, речами, цензом, чту все нам более нравится и по своей грубости более понятно, чем самый принцип «само»-управления. Ибо толочься, говорить, избирать, шуметь, — это и есть истинная сласть, которую мы ищем в самоуправлении и ее в нем находим, очень равнодушные к действительному процветанию своих обиталищ. Убрать эти подробности и сохранить принцип, и не только сохранить его *in statu quo*, но и расширить до необъятных почти размеров — вот гордиев узел нашей текущей жизни, развязать который мы не умеем за недостатком находчивости, изобретательности.

¹ Известно, что многие города (как, напр., Орел) до «самоуправились» до банкротства. При Государе Александре III был случай (в 80-х годах), когда городские гласные, на требование некоторых своих членов ревизию городских сумм (очевидно - не целых, судя по предшествовавшим дебатам), ответили стадным и наглым криком: «Не нужно, не нужно ревизии, а управу и «главу» – благодарить и в думской зале повесить портрет последнего; постановляем!». Столь наглое отношение к общественным средствам «выборных представителей» вызвало вмешательство свыше.

Почему, раз мы дорожим только принципом, раз жаждем только «пожить житие мирное», по законам мысли своей, здесь *на месте* выросшей, по требованиям нужды, здесь *у нас* сложившейся, — почему, в самом деле, нам дорожить механизмом «выборов» и «большинства голосов», который представляет собою дуновение, не только из центров всемирной культуры веющее, но и так именно веющее по всем «местам», что оно поднимает кверху, к власти, к самоуправлению элементы наименее местные, элементы обезличившиеся, элементы, в которых *специфически* «нашего» уже почти ничего не сохранилось: ораторов, «дельцов», финансистов, врачей, адвокатов, людей общекультурного склада, влечений и настроения. Выборы... Но разве парламентаризм всего света не обнаружил, что это есть именно такой способ *отмечания* людей, через который отмеченными оказываются наилучшие? Тэн или Пастёр во Франции, Милль или Карлейль в Англии, Моммзен в Германии разве были избранием «большинства голосов» отмечены? Разве какой-нибудь совестливый человек мог бы, взойдя на возвышение, выговорить не поперхнувшись: «Выбирайте меня — я наилучший», и подмигнув задним рядам слушателей — обещать им те и другие теплые местишки, которые они заполучат, если его выберут? Выборы — это странное, придуманное, искусственно сооруженное вокруг власти болото, в котором тонет все ценное, к которому ценное даже не приближается и через которое благополучно доплывает до «того берега» только ничтожное, грязное, бесстыдное...

Итак, если это есть *наихудший* способ различить достойнейших — и, повторяем, это подтвердила практика всего света — *всякий* иной способ будет лучше его. Пусть же избрет Господь; пусть действует, как действовал в старину, равно христианскую, как и языческую — суд Божий или решение темной судьбы. Припомним роль жребия. В Новгороде имена кандидатов, записанные на дощечках, клались на престол в Софийском соборе, и посланный туда слепец или ребенок брал все жребии назад, кроме одного, который и указывал избранного. Пусть он не был наилучший *до* избрания; по крайней мере, *после* избрания у него пробуждалась мысль, что он избран Богом и будет Им судим не только в делах своих, но и в побуждениях, в помыслах. Великая печать избрания ложилась как след, как напоминание на мысль избранного, связывала его в дурном, одушевляла на доброе. И ни в каком случае мы не скажем, что эта печать была так же низкопробна и, главное, так отчетливо известна избранному, как бывает известна ему теперь, при системе голосования, когда он видит весь узел интриг, все темные по-

буждения, поднявшие его к власти, и об них напоминают ему тысячи жадных рук, протянутых за «благодарностью», сегодня и завтра могущих его опять низвергнуть. По крайней мере, у даровитых греков и римлян жребий имел также место действия, — и судьба их не сложилась от этого столь же печально и постыдно, как новейшая история западных народов или как наша местная жизнь. Но мы вовсе не настаиваем именно на жребии; мы пишем не программу, а скорее методологию. Почему не избирать Царю? Разве над уровнем действительности в каждую текущую минуту нет нескольких десятков, выдающихся в том и ином отношении, на которых естественно и почило бы его внимание? И от этого внимания, мы можем быть уверены, не укрылись бы такие умы, ярко сияющие над целою страной, как только что названные — Карлейль, Тэн, другие, и все призваны были бы к совету об их родине. Во всяком случае, *не* были бы призваны пронырливый адвокат, не практикующий доктор, «делец» биржи, которые теперь повсюду в парламентских странах, а у нас всюду в местном управлении, «представляют» народ, от его имени говорят, его именем распоряжаются. Пусть, наконец, если уже непременно нужны избирающие и избранные, если нужен «ценз» для первых, этим цензом будет достоинство, а не средства, пусть указывают священники, которые знают лучших из прихожан, через продолжительную жизнь на «месте» — местные потребности, и, обычно, в духе своем совершенно совпадают с народным духом, превосходя его лишь в степени, а не в типе просвещения. Пусть, наконец, действуют отрицательные законы: кабатчик, процентщик, уличенный в дурной жизни, лжи или жестокосердии, да не коснутся нечистыми руками кормила местной жизни; однажды уличенный — и навсегда.

Без тревог, без подкупов избираются же старосты церковные по городам. *Их* собрание разве не было бы уже лучше всякой «думы», где иногда (как указывают в Петербурге) действует «черная сотня» людей богатых и мешающих всякому мероприятию, которое, направляясь в пользу общую — могло бы пойти вразрез частным интересам. Мы взяли наудачу первое, что пришло на мысль — только чтобы показать, как богат, как неистощим запас способов жить местною жизнью лучше, нежели теперь...

Почему ни в одной думе не видно епископа? Разве он худший, чем кто-либо в городе? Или дума — это уже такое неприличное место, в котором стыдно почтенному пастырю появиться? Теперь — конечно; но если бы дума была оберегательницею города во всем добром; от путей всякого зла? Разве епископу стыдно заботиться, чтобы налоги не обременяли беднейших? А кто же, как не он, через священников, может

узнать совершенно неимущих даже в обширном округе и представить их списки городу? Кто же, как не он, мог бы внушить гражданам о безобразии улиц: этот разврат чуть не детей, этот даже на детей простираемый соблазн зрелищ и возбуждений? Научить их, что значит праздничный отдых, что значит будничным труд? И вообще — наставить к доброму, повести к полезному, без всякой мысли о себе, с заботою только о них, пасомых своих?

Чи руки, враждебные стране, неведущие истории, не согласующиеся с канонами церкви, отогнали от масс народных пастырей добрых и подпустили к ним злых волков? И, сделав это, бегут к хозяину с криками притворного негодования: «Имущество твое — расхищено!».

Ведь сущность *местного* управления состоит в том, чтобы были призваны к управлению местные силы, и вовсе не в том, чтобы это были силы *преходящие, чередующиеся, минутные, кизбираемые* или «проваливаемые» «большинством голосов».

Мы не упомянули о «храмолюбивом» купечестве, которое, построив нам для молитвы церкви Божии, не отказалось бы, в лице именитых фамилий, будь они не призываемы по выбору, но поставляемы по званию царскому — трудиться на том самоуправлении, которое теперь или пренебрежительно обходят, или — в менее видных своих представителях — делают незаметно предметом своей эксплуатации. Повеление Царя есть радость для всякого подданного; его укор — только напоминание долга, без всякой в себе обиды. Наше купечество, насколько оно не развращено пока еще школою, так не отвечающей его духу, так нелепой в применении к нему; пока оно не подавлено и не затерто обильно призываемым чужестранным капиталом — под царским взором, по мановению царской руки способно еще оказать несравненные, незаменимые ничем услуги. Ибо нет у Царя, у Церкви, у земли нашей более верных и вместе мощных по средствам слуг, как эти коренные русские простые люди, неукротимые в дурном, но и не знающие границ в великодушном. Как и дворянство, столь ошибочно, столь безумно, столь непоправимо допущенное до разгрома в третью четверть нашего века, и этот второй устой нашего быта, опора нашего будущего, не стоит ли, как кажется, близко к подобному же разгрому. Перевороты законодательные, пересоздания учреждений, как бы они значительны ни казались — ничто перед этими великими, истинно неисцелимыми революциями в укладе народной жизни, уже потому, что *те*, первые, могут быть поправлены почерком пера и никакими «почерками» нельзя восстановить разрушенные ячейки издревле сложившегося уклада жизни.

Мы ищем метод и нисколько не предлагаем руководительных

правил; мы говорим только: «есть *где* поискать и еще» сверх тех жалких, неискусных, неудачливых форм, какие у нас действуют в самоуправлении. Мы прибавим, что в жизни стран, как Россия, разнообразие способов управления не только не есть какое-либо зло, но есть положительное благо: ведь и всякая испытываемая в живой действительности мера есть *experimentum in anima vili*, вся история есть опыт над живой человеческой душой; зачем растягивать этот опыт во времени, сегодня учреждая одно и завтра его ломая и заменяя другим; не лучше ли, не менее ли болезненно будет растянуть этот опыт в пространстве, допустив одно — в одном месте, и в другом — другое.

VI

Совет из элементов, устойчивых постоянных, — совет из людей, руководимых определенным принципом; наконец — из людей, при всей туземности их вкусов, интересов — вместе и просвещенных, — по крайней мере, в некоторых своих представителях — мог бы уже во всей полноте руководить местною жизнью, а не заниматься только скучным разрешением *повторить* у себя тип общеимперской школы, больницы, богадельни, обдуманных где-либо в центральной канцелярии людьми вовсе не более компетентными, не лучше одаренными, не более, наконец, просвещенными, нежели те, на каких мы указали выше.

Власть высшая, в средоточии всех этих самоуправлений, блюдет их гармонию, отменяет излишнее, сорадуется благому. Царь не только направляет ход большого корабля, положение этой группы стран, врученных ему Богом — среди еще других стран; их безопасность, их достоинство, но и внутри самой земли — он блюдет принципы, под сенью которых возросла она в истории. У нас — это принципы церкви, это твердость семьи; взаимный мир племен, доверие к просвещению... Нет ни нужды, ни радости для него вмешиваться в детали текущей жизни; все это — видные на «месте», с высоты престола видные за то соотношение всех вещей, общее направление народной реки; и оберегать ее русло, поправлять обваливающиеся берега, ставить плотины там, где она грозит разлиться и затопить то, что ее водам не принадлежит — естественно лежит на попечении Царя. Он как бы собирает в себе все отдельные дыхания «мест» и так сочетает их в мысли своей, укрепляет одно, умеряет другое, что все они связываются в правильное и мощное дыхание истории. Во всяком случае, внимать этой работе земли над собою, ее санкционировать, ее просвещать советом и исправлять повелением — более, чем всякий иной труд, более, чем труд над «работами» бесчисленных канцелярий — отвечает грозному и

благому Имени, с которым земля соединяет понятие Отца своего.

В. Розанов

Сканирование, распознавание, вычитка и оформление выполнены коллективом сайта
<http://varvarin.ru>